

СЕРГЕЙ НЕБОЛЬСИН

## ЯСНАЯ ПОЛЯНА В 1950 ГОДУ

Не кажется странным: когда-то именно в толстовский юбилейный год (1908) Александр Блок заговорил о незримой черте, которая угрожающе, как перед некоей Куликовской битвой, пролегла между интеллигенцией и народом.

\* \* \*

Как простолюдин, Толстой чурался чиновничества – присутствий, департаментов, судов с их “аблакатами” и прокурорами. Он, мне кажется, и самую высшую власть недолюбливал, но тут есть особый нюанс: Толстой как-то и не создан был писать о ней. Имея всемирный кругозор, он был чужд ее кругозору. Разные причины сетовать на карикатурность Наполеона (а она есть, и Наполеоном в своем роде заслужена) – и сетовать на то, что у Толстого не оказалось мощи и живого богатства в портретах иных государей-императоров. Но ее нет.

А ведь была высшая власть, заступавшаяся за наследие Толстого, за народную тягу к нему. Заступалась даже некоей незримой тенью, и тень эта призраком в моем сознании держится.

Но я расскажу, касаясь и этого, немного о другом. Есть один голос, который из собственно толстовского, родимого писателю яснополянского мира до сих пор звучит в моей памяти. Не к лицу русских верхов он относится, и не к нему был обращен, и запомнил его сам я.

\* \* \*

Неранней осенью 1950 года “Литературная газета”, только что попавшая в ведение Константина Симонова – писателя, не чуждого соблазну писать “по Толстому”, – собралась в Ясную Поляну. “Симонов созвонился с Пузиным, с директором, и нас ждут”, – вели пересуд газетчики. Симонов был выдвиженцем Сталина, и значительность пересуду придавало именно это.

Тогда выходными были только воскресенья. Человек тридцать экскурсантов сошлись еще затемно где-то в центре Москвы (Цветного бульвара газета тогда еще не получила). Там уже ждала заштатная послевоенных лет полуторка под брезентом и с лавками, которых, оказалось, хватило не для всех. Ну, кое-как расселись, кто-то достал гармонику, и на тройках с бубенцами в путь. При матери, которая вскоре после нашего приезда из Сибири устроилась в газету, состоял и я, младший школьник. (Был еще один, Алеша, не помню, чей племянник). Через московские окраины рванули на юг, в направлении Тулы.

\* \* \*

Сейчас не так, конечно, ездят к Толстому литераторы (я сам опробовал позже и мягкие автобусы, и скоростные поезда до Козловой Засеки, и даже раз кто-то подбросил на “мицубиси”). Ну, а мы, что называется, с гиканьем и свистом. Кто-то согревался чисто по-солдатски, а мне некий здоровенный мужчина дал хлебнуть какао из термоса – тоже взбодрило, стало и теплей и веселей.

Кто-то и клевал носом. Но я помню, как проезжали мимо домов, на которых местами еще сохранился прифронтовой, коричнево-зелеными разводами, защитный камуфляж. Помню, что тогдашнее Варшавское шоссе было узкое до крайности, в невысказанных загогулинах и ухабах. Но кто-то произнес значительно: **Варшавское шоссе**, и я вжился в авторитет этой магистрали, похожей, как сейчас подумаешь, на сирую проселочную дорогу. Конечно, не было еще и никаких “новых кварталов”. (Немцы-пленные вели точечное строительство и многоэтажное, и коттеджное, но погоды это не делало; да в 1949 году они в основном исчезли, отбыли к себе в Германию).

Есть у Пименова прекрасная картина “Москва майская” (или как). Но я говорю про рейд по Москве хмурым октябрьским утром, и совсем не по Охотному ряду, который еще далеко не был проспектом Маркса, и вижу все глазами недоспавших людей. Из Москвы выехали быстро, она тогда не была раскидистой: никаких там Бутовых и проч. Начались дачи и дачки, халупы и колхозные фермы, луга и перелески. Кто-то, наконец, совсем разбередил чужую дрему гармошкой, начали гомонить и петь. К Толстому двигались под “Горит свечи огарочек”, “Ехал я из Берлина” и “Мне хорошо, колосья раздвигая”. Для многих эти песни были частью собственного опыта, в основном фронтового; двое мальцов – мы с Алешей – охотно подпевали.

\* \* \*

Около Оки и Серпухова, особенно к Туле, виделись следы военных разрушений. Исковерканные дома и переезды, не полностью восстановленный быт. Тяжело вспоминать. Так или иначе, обещанные 170 (или сколько) километров были сделаны, и днем мы прибыли ко въезду в усадьбу – к двум круглым столбам, которые когда-то своей внушительностью и красотой-гармонией восхитили Чехова.

Вышли на некое подобие площади, вокруг которой сейчас сувенирные ларьки, магазинчики, ресторан-столовая. Встали кучкой, разминая ноги и еще неуверенно озираясь. Но тут нас уже радостно встречал директор толстовского музея Пузин. Это был живой, знающий и именно радушный человек, и вызвался он лично показать нам всю графскую усадьбу. Сейчас он уже покойник, добрая ему память.

\* \* \*

Сделаю отступление, касающееся собственно литературы, причем самых разных уровней. В том нашем путешествии она отчасти затрагивалась, но как – совсем не помню, и говорю только от себя и из собственных мыслей.

Конечно, Н. Пузин знал, что мы “от Симонова”. Что Симонов не просто Симонов, а всесоюзный туз и доверенное лицо Сталина, да еще и несколько уже раз Сталинский лауреат – он как раз это и принимал во внимание особо. И, несколько в сторону шибая от рассказа о Ясной Поляне 1950 года, я сам отвлекся от этой тематики напрочь не могу.

Верно, что Сталин – Симонов есть любопытная, хоть и не генеральная тема. Что же в ней все-таки значительно? А то, что не окажись Симонов при Кремле, не стать ему никогда хоть как-то, но видным поэтом. Бывают и другие пути, а тут был – именно этот. Родись лет на пятнадцать раньше Женя Гангнус – и вальжность-степенность, и твердую идейность вовремя и навсегда приобрел бы и он. Не нашлось для Евшушенки Сталина, не нашлось вовремя –

*когда все мягко так, и нежно, и незрело.*

И в итоге получилась какая-то с дребезгом и беспорядочно машущая руками и лозунгами ветряная мельница, уж не сказать флюгер. Были, были бы

у Гангнуса и свои “Дороги Смоленщины”, свои “От Москвы до Бреста”. Поэзия при власти — искусство не единственное, но очень часто добротное, свою ничтожность возвышающее. И отрещиваться, отречься от соотечественников — “наследников Сталина” не пришлось бы; и про нас как про посконную сволочь не написал бы Евгений Александрович свои “Русские коалы”. Всю сталинскую советскую власть Евгений Александрович пел бы как шелковый — может, и не лучше Луконина, но стойко и по праву наследуя ему. Порядочным явлением в поэзии он мог бы стать и вдали от Кремля. Но вечная тяга людей известного рода наверх бывала для них созидательна. Она и нам что-то давала. Но ближе к делу, к вопросу крупнее, чем Сталин — Симонов, Сталин — Евтушенко. К вопросу, который подсказан толстовским годом: **Сталин и Толстой.**

Есть что сопоставить. Да, дара и склонности писать царей или ближайших к трону царедворцев так, как писались Андрей и Пьер — во всем изобилии красок, заглядываний в душу, — у художника, возможно, не было (противоположность Шекспиру с его Ричардами, Генрихами и Лирами). Но допустите, что Толстой прожил бы не 82 года, а 100 лет, сохранив ясность ума, и поместите его в 1928 год. В чью пользу размышлял бы он, сравнивая болтливого, “аблакатствующего” Троцкого с его немногословно-аскетичным, наделенным железной государственной волей противником? Особенно перед лицом задач, которые человеку предыдущего столетия и даже японской войны и не снились?

Верно: Толстой не доверял политике, науке и индустрии точно так же, как и юридическому словоговорению. Но разве державный собеседник не убедил бы старца, что для спасения и его крестьянской России как раз наука и индустрия смертельно-жизненно необходимы?

Нет, не стоит преувеличивать в Толстом его детски-наивную приверженность непременно антинаучному “мракобесию”. (Так говорили, так, очевидно, саркастически думал и Ленин.)

Пойдем дальше, в годы 1941–1945. Нам заметят, что Лев Толстой, помещенный в эти годы, — уже совсем химера. Но мы же признаем вечность Толстого? Если признаем всерьез, то должны принять и такое. И я держусь того, что в большом существовании русских забот Толстой из нашей жизни никуда и не уходил. В связи со страной — не было никакого “ухода Толстого”.

Что же мы видим, что мы могли бы увидеть? Да, совсем отвергнутую и даже, кажется, подвергнутую Толстым церковность Сталин не моргнув глазом восстановил во вполне каноническом обличьи и без всякого обновленчества. Толстой этого не принял бы?

Возможно; но мы о 1941–1945 годах, тут важнее иное: своими “Севастопольскими рассказами”, своими “Войной и миром”, “Кавказским пленником” — не сталинской ли России Толстой усердно помогал — и помог выстоять? А Сталин не всю ли Россию, дорогую Толстому, как мог защищал и отстоял от новой наполеоновщины?

Представьте себе Ясную Поляну, что сегодня она не стерта с лица земли, а стала усадьбой какого-нибудь барона или гроссбауэра...

То есть в чем-то неизвестные в их соотношениях величины и расходились, и шли навстречу друг другу.

Вот почему и странно: есть труды “Толстой и Чехов” (пухлейшая книга В. Я. Лакшина), есть всяческие “Толстой и музыка”, есть “Ленин и Толстой”. Но нет труда “Толстой и Сталин”. И нет Толстого, что описал бы Сталина несколько иначе, говоря мягко, нежели Солженицын или Гроссман. А что, генерал Власов — не фигура для толстовского гения? Этой картины в толстовском ключе нам тоже не хватает.

Шлюсь на авторитеты. В 1943 году Давид Бурлюк написал в Америке картину: два земледельца за плугом на бескрайней пашне; и он назвал ее — “Неподвластная захватчикам Россия Толстого и Ленина”. Учтите контекст 1943 года: Сталин здесь был бы более уместен.

\* \* \*

Но это мысли сегодняшние. А тогда, проехав километров двести по России — поврежденной и изуродованной, но оставленной-таки нам Сталиным и Толстым после Гитлера (виды были невеселые, но это была становящаяся жизнь), мы оказались в толстовской усадьбе.

Там тоже многое было обшарпано и недокрашено, еще как-то не по-яснополянски мрачно, сиво и серовато, но я уже по восприятиям и возгласам окружающих чувствовал: даже при всем этом и святыня, и прелесть созерцаемого для них несомненны.

Еще по сибирской деревне без света и радио я помнил, как матушка читала про бойкого и любознательного Филиппка; про мальчика Ваню, что тайком взял сливу с общего стола и был хитроумно разоблачен его отцом; про парнишку, что для забавы кричал “Волк! волк!”, а потом волк и впрямь напал на стадо. Это с обстановкой усадьбы не вязалось. Не вписывался в покой барского дома и “Кавказский пленник”, которого я читал уже в Москве. Но “Детство” и “Отрочество” уже вполне ощущались в этом доме, именно в нем, в его залах и спальнях и в куцах и аллеях вокруг. (Хотелось даже искать знаменитую “зеленую палочку”). Здесь бегал Николенька, здесь ковылял добрый Карл Иванович, ходила Николенькина мама. Все оцепенело смотрели на стены славной “комнаты со сводами” — и мне сейчас жалко, что довелось увидеть ее раньше, чем я прочел “Войну и мир” либо “Крейцерову сонату”.

Еще запомнилась могила — сырим и не вполне приятным холмом без креста. Запомнилась — но уже и тогда она наводила только тоску, как-то совсем без дуновения благодати. Постояли и помолчали.

Так, если в целом, восторженно-тихое оцепенение всех передавалось и мне: со своей суровой спокойностью усадьба и тогда, при запустении была толстовской. Сами просторы апартаментов действовали на советского отрока, жителя коммунальной квартиры, и своими объемами, и величественной тишиной, и трепетной заботой обо всем этом со стороны “сотрудников”, хотя здесь приходится употребить уже не совсем толстовское слово.

\* \* \*

Всё обошли, вплоть до полуразвалившихся конюшен (сейчас там всё на ходу). Всухомятку хотели перекусить, но любезный Пузин дополнил это гостеприимным чаем — повторяю, на тридцать человек. Пора собираться в обратный путь.

И тут произошло неожиданное. По выходе на площадь, где мы остановились сперва и договорились с шофером, чтобы тот нас подждал, делегация-экскурсия обнаружила: ни полуторки, ни шофера нет.

Побегали туда-сюда. Кто-то сказал: уехал рыбачить. Наряд, посланный в указанное место, доложил: он там, но машина увязла в пруду. Смятение всех охватило отнюдь не фронтовое, а начинало вечереть и заметно холодать. Около часа шофера еще поджидали, потом отчаялись — но и выхода не нашли. Местные жители возвращались с каких-то трудов и занятий, загоняли скот и гусей, с любопытством посматривали на сбившуюся в ожидании транспорта кучку.

Попросили какого-то проезжего на телеге еще раз съездить туда, куда отправился рыбачить шофер. Тот поехал, вернулся и сообщил, что дело безнадежное. Прошла мимо стайка мальчишек. Я высмотрел одного, про которого решил, что он видом как раз толстовский Филиппок, только постарше. “Смотри, мама, Филиппок”, — уже сказал я — но его товарищи или старший брат крикнул нечто в нашу сторону, и ватага прошла дальше.

Все как-то помрачнело. Ничего себе, приехали в гости к Толстому. Но дело было хоть как-то спасено тем, что уже когда почти совсем смерклось, из ограды снова вышел директор Пузин и отрешенно сказал: “Ну что, раз такой оборот, расположим вас ночевать в музее”. Он не хотел “инцидента”.

Такого никто не ожидал, и как будто все этого же ждали. Опять гомон, восклицания. Всех, буквально всех развели по неприкосновенным толстовским покоям. Уж как им там стелили, этого не знаю — а нас с Алешей отвели в некое строение, про которое сказали, что это флигель, где когда-то ночевал Чехов. Там было две лежанки, самовар с жестяными кружками при нем, в какой-то жбан нам налили воды, потом принесли и опять чаю. Согретьшись под одеялами — не знаю, мемориальными или нет, мы с Алешей совсем готовы были уснуть.

И вдруг всему этому пришел отбой: кто-то пробежал в “центральный корпус”, снова раздались по всей усадьбе голоса, двери нашего флигеля открылись, и громкий голос с отрадой сказал, что **машина приехала**.

Особенно дрожа после начавшегося было сугрева, не так-то охотно возвращались люди все на ту же площадку перед белыми яснополянскими столбами. Что они высказали шоферу-бедолаге, не помню. Часов так около одиннадцати вся гоп-компания отправилась обратно в Москву, и глубокой ночью мы были у себя дома.

\* \* \*

Сейчас подумашь: не будь этого случая, я бы еще долго ехал до Ясной Поляны. (Помню, что в следующий раз, это было году в 1963-м, работники музея сетовали, что над усадьбой угроза зачумления и вымирания лесов из-за деятельнейшего производства Новомосковского угольного предприятия, что по соседству – и “его бы надо закрыть”. Благими намерениями ад вымощен). Не будь, далее, этой незадачи с нашим шофером – не прикоснуться бы мне вживую к реликвиям толстовского времени, не пить чай из “чеховской”, можно сказать, кружки. Не будь за всем этим фигуры Симонова (само его толстовствование в “Живых и мертвых” меня никак не трогает) – не было бы, может быть, и особого благоприятствования нам со стороны музея, не было бы лекции самого Пузина в качестве экскурсовода, его отчаянного гостеприимства сырым и несчастным. Не было бы и особо сердечной памяти об этом человеке.

Интересно только: а сам Толстой принял бы на ночлег таких ходячков? Вот не знаю.

\* \* \*

Но я помню одно, чего я раньше коснулся мимоходом – это выкрик, с которым обратился к нам на площади деревенский мальчишка.

**Счастливо замерзнуть здесь вам, москвичам, яснополянским студеным утром!**

Это был 1950-й, а не какой-нибудь 1905-й, скажем, год. И в выкрике том была какая-то подспудная деревенская идея.

Сам парнишка, может быть, шутил – да я и помню, что он смеялся. От этого не легче. “Нынешняя Москва идет вперед, она в авангарде обновления страны”. Нынешняя Москва уже съела десятую часть площадей, отделявших ее когда-то от Тулы, Клина, Калуги. Варшавское шоссе местами великолепно. И вдоль всех таких магистралей не то что просто стоят, но кустятся многоцветные гиганты и коттеджи. И т. д., и т. п. Тому яснополянскому сорванцу, как и мне, уже семьдесят, наверное, лет. И вот думаешь: да, дома – они новы. Однако не оставляет вопрос: отношение земляной, избяной России к Москве (о нем мы мало читаем в печати) – оно-то в какой мере изменилось?

Вопрос толстовский, Толстым он не решен. А сколько Москва понаворотила дел, чтобы он снова и снова возникал в сознании. Не потому, что его в 1908 году “наметил” Александр Блок, а по чему-то другому, по ходу общих дел, пускай он запущен и не нами.